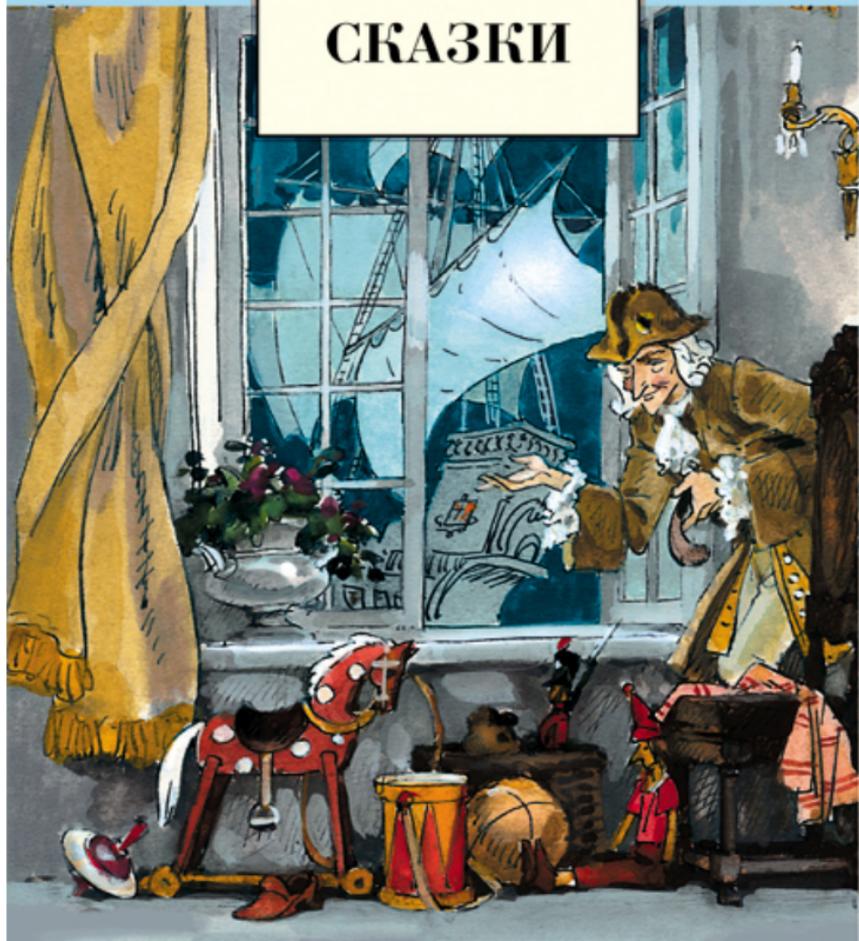


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Х. К. Андерсен

СКАЗКИ



Ганс Христиан Андерсен
Сказки
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6899747
Сказки [вступ. ст. А. И. Шарова]: Дет. лит.; Москва; 2002
ISBN 5-08-004035-1

Аннотация

В сборник вошли наиболее известные сказки датского писателя: «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Девочка со спичками» и др.

Содержание

Жизнь в сказке [1]	6
Сказки	22
Гадкий утенок	22
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ханс Кристиан Андерсен

Сказки



Х.К. Андерсен
1805 - 1875

Жизнь в сказке ¹

Поговорим о Хансе Кристиане Андерсене; не только о некоторых его сказках, но и о жизни его, из которой сказки родились. Ведь сама книга впервые явилась мне в воображении много лет назад как мысль об Андерсене – прежде всего о нем.

Тогда же я достал его портрет и с тех пор постоянно ощущаю взгляд его маленьких, таких тревожных глаз, пристально глядящих с печального длинноносого лица.

В жизни Андерсена было много горького. Даже когда его полюбили дети и взрослые во всем мире, в том числе такие взрослые, как Чарльз Диккенс, Вольфганг Гёте, братья Гримм, Генрих Гейне, Виктор Гюго, на родине его очень многие говорили, что пишет он несерьезное – сказочки, да и сами эти сказочки пишет *не так*, а надо писать *вот как*.

В автобиографии, которую Андерсен назвал «Сказка моей жизни», он вспоминает, как некий кандидат богословия, автор водевилей и критических статей, решил «однажды в моем присутствии в знакомом доме разобрать одно из моих стихотворений, что называется, по косточкам; когда он кончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивающаяся к такой бес-

¹ Шаров А. Волшебники приходят к людям. М.: Дет. лит., 1979. С. 368–378.

пощадной критике, взяла книжку и сказала: „Вот есть еще одно словечко – „и“! Его вы не бранили“. Кандидат покраснел и поцеловал девочку».

О первом выпуске сказок Андерсена датский литературный журнал «Деннора» писал: «Сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ругаться за их полную безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, приезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее...»

Когда была напечатана «Принцесса на горошине», тот же журнал заметил, что она «лишена соли».

Читая первые отзывы на сказки Андерсена и сравнивая их со статьями, которыми были встречены сказки Пушкина и Ершова, нельзя не подумать, что если сказочники в мире так прекрасно разны, то «не сказочники» – а это, должно быть, особая людская разновидность – очень одинаковы.

Впрочем, тревогу и печаль в глазах Андерсена вряд ли можно объяснить лишь собственными его скорбями. В той же «Сказке моей жизни» он писал: «Мы посетили Помпею, Геркуланум и греческие храмы в Пестуме. Здесь я увидел слепую нищую – почти девочку еще, одетую в лохмотья, но дивную красавицу».

Прочитаем сказку «Девочка со спичками», и эта девочка возникнет перед нами – ненадолго, чтобы в ту же ночь погибнуть. «В эту холодную и темную пору по улицам бре-

ла маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать – вот какие они были большие, и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят».

Мир отражался в скорбных глазах Андерсена.

И тут вспоминается его детство, в котором главные истоки творчества.

Он родился в маленьком датском городке Оденсе, в бедной семье, рано лишился отца, завербовавшегося в солдаты, чтобы избавить семью от нищеты, и не вернувшегося.

Солдату суждено было вернуться только в сказках сына – веселым и неунывающим.

Горе утрат и разлук, преследовавших Андерсена, смягчалось, когда он призывал на помощь сказочные видения.

Кто-то из друзей сказал, что в обычной жизни он чувствовал себя как в театре, все время ожидая чудес, огорчаясь и досадуя, если чудес не случалось, а в театре ему казалось, что перед ним реальная жизнь; подобно Дон Кихоту, он не ведал разницы между мечом картонным, из театрального реквизита, и стальным.

В детстве он часами просиживал на берегу реки у кротовой норы, и когда хозяин выглядывал из своего жилища,

ему ужасно хотелось расспросить его, что делается на другой стороне земли, куда, несомненно, ведут подземные ходы. Рядом с домом, где жили Андерсены, свил себе гнездо аист; веснами мальчик первым встречал мудрую птицу после возвращения ее из дальних стран. Больше всего тогда он желал бы выучить язык птиц и зверей. Нам, читавшим его сказки, известно, что эта его мечта исполнилась.

И больше всего на свете ему хотелось стать актером, работать, а правильнее было бы сказать – *жить* в театре. Тут невольно вспоминается, что и у Аксакова, и у Пушкина увлечение театром предшествовало их приходу в поэзию, а потом осталось навсегда. Видимо, если ремесло сказочника соприкасается с учительством, то так же неразрывно оно и с игрой, особенно с игрой в театр. В основе всех этих трех искусств, как кажется, одно – сила воображения. Вообразить судьбу своего героя; вообразить чувства ребенка, которого ты учишь, и будущее его, во многом зависящее от твоего слова; слиться в воображении с тем, чью судьбу тебе суждено представить на сцене.

Мать Ханса Кристиана, видевшая у себя в Оденсе только канатных плясунов и странствующих актеров-бедолаг, сказала сыну, когда тот открыл ей свое *окончательное* решение стать актером:

– Вот когда попробуешь колотушек. Заставят тебя голодать, чтобы ты был полегче, станут тебя пичкать деревянным маслом, чтобы ты был гибче! Нет, ты пойдешь в портные.

Посмотри только, как живет портному Стегману! Не житье, а масленица!

Но уже ничто не могло остановить его. Он должен был писать для театра, да так, чтобы самому исполнять главную роль. Мальчиком он сочинил пьесу «Карас и Эльвира» – об отшельнике и немислимой красавице. Эльвира выражалась исключительно стихами, нежными, романтическими и отменно длинными, отшельник отвечал ей столь же пространно отрывками из священных книг.

Выслушав пьесу, соседка, подавив легкий вздох, сказала: – Лучше бы не Карас и Эльвира, а карась и корюшка...

Критику эту он запомнил, а может быть даже, она была одной из немногих, оказавших влияние на его творчество.

«Я могу назвать только трех писателей, которые в юности как бы перешли в мою плоть и кровь, – это Вальтер Скотт, Гофман и Гейне», – говорил Андерсен.

Потом он прибавил к этому списку еще и Шекспира.

В детских произведениях он подражал своим кумирам, но всякий раз пытался внести в сочинение нечто свое.

«У Шекспира короли и принцессы говорили точно так же, как обыкновенные люди, но мне это показалось не совсем верным, – вспоминал Андерсен. – Очевидцы, видевшие короля в Оденсе, утверждали, что он „изъяснялся по-иностранному“. Я достал датско-немецко-французско-английский словарь, и мой Король заговорил так: „Гутен морген, мон пер. Хорошо ли вы шлеепинг?“»

Уже перейдя от мальчишеских опытов к серьезной литературе, Андерсен не сразу нашел единственно свой путь, но и тогда, в юности, в его творчестве чувствовалось нечто такое светлое – «чистый тон», сказал бы другой замечательный северный писатель, Халлдор Лакснесс, – что вызывало у лучших людей ответную волну нежности.

В 1823 году датский ученый и редактор «Восточно-Зеландских ведомостей» пастор Бастгольм, прочитав одно из сочинений восемнадцатилетнего Андерсена, писал ему: «Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам не у кого было учиться, и берегите в себе благородство, и высоту помыслов, и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия».

В сказках он стал таким, «как будто до него не было ни одного поэта».

Он очень медленно вырос и с годами не отдалялся от того, чем живет детство. В шестнадцать лет он так же самозабвенно играл в куклы – в куклы-артисты, как и шестилетним ребенком.

«Ежедневно, – вспоминал он, – я шил куклам новые наряды, а чтобы добыть для этого пестрых тряпок, ходил по магазинам и выпрашивал образчики материй и шелковых лент. Фантазия моя была до того поглощена кукольными нарядами, что я часто останавливался на улице и рассматривал богатых барынь, разряженных в шелк и бархат, представляя себе, сколько королевских мантий, шлейфов и рыцарских ко-

стюмов мог бы выкроить из их одежд. Мысленно я уже видел эти наряды у себя под ножницами».

Купчихи и чиновницы Копенгагена ловили на себе восторженный взгляд долговязого оборванца, столбенеющего при их виде, вряд ли догадываясь об истинной причине этого восторга.

Он сшил пуховую перину для одной тоненькой и грациозной куколки и уложил ее спать. Лицо у куколки было красивое, но кисточка дрогнула в руках Ханса Кристиана, и уголки маленького красного рта образовали обиженную гримасу. Ночью он открыл глаза, в лунном свете досадливое выражение лица его любимицы очаровало и чуть рассмешило его. Он снова уснул с ощущением непонятной заполненности, вдруг счастливо посещавшей его иногда – каждый раз без предупреждения – радости, не имеющей названия, скрывающей до времени лицо под полумаской, как фея на балу. Утром кукла сказала капризным голоском:

– Я почти не сомкнула глаз! Бог знает, что у меня за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Принцесса на горошине родилась в то утро, но прошли годы, пока Андерсен записал ее историю.

Однажды весной в форточку залетела ласточка. Она билась о стекло, не находя выхода, и вдруг замерла на столе около самой маленькой куклы, которую так и звали – Малышка. Он открыл окно, выпустил птицу и проследил за ее

полетом. Странно, ласточки уже не было в каморке, когда юный Андерсен явственно услышал ее щебет:

– Кви-кви! Кви-кви! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь...

Судьба ласточки и Малышки связалась неразрывно; и тогда возникла Дюймовочка.

Андерсен рассказал историю жизни Штопальной иглы, Репейника, Жабы, Соловья и Розы, всех Дней недели. Он придумал Великого Морского Змея – это трансатлантический кабель, протянувшийся по дну океана: «гудящий мыслями всего человечества, говорящий на всех языках мира и все же безмолвствующий, мудрый змей, вестник добра и зла, чудо из чудес...»; он написал сказки Бутылочного горлышка, Ночного колпака, Пера и Чернильницы, Дворового петуха и Петуха флюгерного, Навозного жука, Ключа от ворот, Подснежника, Воротничка, даже Тетушки зубной боли...

Для него не существовало деления на высокое и низкое, лишенное поэзии; в сказках его сточная канава уж конечно не менее достойна удивления, чем дворец китайского императора.

Андерсен много путешествовал – это всегда было одной из самых больших радостей для него. В странствиях он подружился с Гёте, Диккенсом, Виктором Гюго, и с людьми не столь знаменитыми, и со множеством детей; имя его открывало сердца.

Однажды в Париже на большом званом вечере Андерсе-

на познакомил с кумиром его молодости – Генрихом Гейне. Оба очень обрадовались встрече, но разговор налачился не сразу; может быть, сказалась разница в возрасте – Гейне был на восемь лет старше. Но вскоре безразличный светский разговор сам собой перешел в доверительную беседу об одном из тех тайных предметов, который они так любили. К ним приближались красивые женщины, писатели, артисты, художники, но, еще издали услышав «эльфы, феи, гномы», спешили отойти, чтоб не помешать великим знатокам сказочных наук.

Гейне спросил Андерсена: не потому ли домовые так любят его страну, что там умеют готовить необыкновенно вкусную сладкую гречневую кашу?

– Нет, – ответил Андерсен, – *ниссы*, так у нас называют домовых, всего охотнее едят размазю с маслом. – Еще он сказал: – Если нисс поселится в доме – а делает это он, только получив согласие хозяина, – то уж остается навсегда. Иногда выходит накладно: ниссы любят плотно поесть, да еще вмешиваются не в свои дела. Одному бедному ютландцу так наскучило соседство с ниссом, что он решил бросить свой дом; нагрузил пожитки на телегу и поехал в соседнюю деревню. А по дороге, обернувшись, увидел головку домового в красной шапочке; тот, выглянув из пустого бочонка, дружески закричал ему: «Перебираемся!»

В свою очередь Гейне вспомнил занятную историю о немецком домовом по имени Гюдекен, то есть Шляпчонка.

Хозяин дома, где жил Шляпчонка, часто надолго уезжал: такая была у него работа. Бывало, только он за порог, жена зазывает соседей, кормит и поит, так что в кладовке к возвращению хозяина остаются одни лишь крюки, на которых прежде висели окорока и колбасы, а в погребе – пустые бочонки. В довершение беды кое-кто из соседей оставался еще и ночевать. Вот хозяин и попросил Шляпчонку побереечь дом в его отсутствие. «Ладно!» – пообещал тот. Лишь только сосед, плотно поужинав и выпив, устроился в хозяйской постели, Шляпчонка стал трясти ее, да так, что незваный гость несколько раз крепко ударился о потолок, а потом и совсем вылетел из дома – через дверь, через окно, может быть, даже через печную трубу? Когда это повторилось и на другой день, и на третий, и на десятый, все стали обходить дом стороной. В день возвращения хозяина Шляпчонка встретил его за околицей и попросил: «Впредь никогда не поручай мне такую работу. Я охотнее стерег бы свиней во всей Саксонии, чем твою благоверную!»

Увлеченные разговором, Поэт и Сказочник и не заметили, как гости разошлись, как погасли огни. Часы пробили двенадцать раз, вежливо напоминая, что уже наступила ночь. Только тогда они опомнились и пошли к выходу.

Из путешествий, соскучившись по работе, Андерсен неизменно возвращался в столицу Дании – в свой любимый Копенгаген, где на самой большой площади Конгенс Нитров, недалеко от Королевского театра, с которым было связано

столько надежд, разочарований, но и радостей тоже, находилась его квартира: маленькие комнаты с окнами, выходящими на площадь и похожими на витрины.

Когда окна загорались и показывалась знакомая длинная фигура, копенгагенцы, проходя мимо, замедляли шаги, а многие из них бессознательно улыбались.

Но однажды в такой торжественный день возвращения он – в ту пору уже старик и знаменитый писатель – услышал тяжелые уверенные шаги двух важных господ в богатых шубах и громкий голос одного из них:

– Наш знаменитый за границей орангутанг наконец-то, ха-ха, пожаловал домой!

Он отступил в глубь комнаты и прижался к стене, будто так можно сберечься от удара, уже нанесенного.

«Самым важным свойством таланта Андерсена была причудливая фантазия, придававшая его поэтическим произведениям свежесть и прелесть, – вспоминал один из близких друзей его, – но с фантазией бывает то же, что с людьми: они редко дают что-либо даром. Сколько должен был он вынести волнений и страхов, когда фантазия врывалась к нему без зова и вела, куда ей хотелось. Я видел его вне себя от волнения и страха из-за того только, что друг его опаздывал на полчаса против условленного срока. И чего-чего только не перенес он за эти полчаса! Сколько представлялось ему различных способов смерти, пока он не остановился поневоле на самом ужаснейшем. Он ясно видел, как привезли домой тело уби-

того друга, уже написал родным и друзьям на родину, возможно осторожнее подготовив их к страшной вести; он, наконец, уже оставил это страшное место, бежал от кровавого зрелища смерти, но оно все преследовало его; больше не было сил, он чувствовал, что захворает, пожалуй – умрет... Он чувствовал все это, когда дверь отворилась, и друг вошел, здоровый и улыбающийся».

Беспокойство о близких наполняло его; «далеких» среди людей для него не было.

Охваченный этой вечной тревогой, он поднимался ночью и шел по гулкой Конгенс Нитров, мимо Королевского театра с погашенными огнями, где ветер шелестел старыми афишами, перечитывая и перечитывая их, по спящим пустым улицам. Кольцо из зеленых валов окружало старый город, и выйти из него можно было в ту пору только через ворота, запиравшиеся на ночь. Ключ от ворот каждый вечер доставлялся в замок Амалиенбург королю Дании Фредерику VI.

Андерсен открывал городские ворота своим – невидимым – ключом, и они бесшумно распахивались перед Принцессой и Свинопасом, Соловьем и Розой, феями и Девочкой со спичками, эльфами и Навозным жуком. Последней приползала улитка. Та самая, о которой Андерсен говорил: «Она была богата внутренним содержанием – она содержала самое себя».

Улица у городских ворот, несомненно, была бы запружена. Считается, что в «Человеческой комедии» Бальзака вы-

ведено больше действующих лиц, чем у любого другого писателя; но мир Андерсена еще населеннее. Улица была бы запружена, хотя свита Андерсена занимала не только мостовую: аисты и другие птицы парили над головой, черви и кроты прокладывали подземные ходы.

Андерсен усаживал на плечо маленького Оле-Лукойе, того самого, который навевает людям сны, и шел вперед. Тут возникает неотложная необходимость разглядеть Андерсена в темноте ночи; поэтому я решаюсь прибегнуть к помощи Вильяма Блока, современника и друга Андерсена, который в описаниях неизменно предпочитал восторженности точность: «Нельзя сказать, чтобы природа была особенно милостива к Андерсену по части внешности, – вспоминал Блок. – Фигура его всегда имела в себе что-то странное, что-то неловкое, неустойчивое, вызывающее и улыбку, и симпатию. Как бывают мальчики, с детских лет отличающиеся какой-то старческой степенностью, невольно внушающею к ним некоторое уважение, так бывают и взрослые люди, которые никак не могут избавиться от чего-то чисто детского в лице или в фигуре. Андерсен представлял удивительную смесь того и другого рода людей. Не знаю, каков он был ребенком, но я уверен, что его резко очерченное лицо с маленькими глазами и крупным носом и в детстве не представляло свойственных ребенку мягких и округленных форм, и я вряд ли ошибаюсь, предполагая, что люди, видевшие его в колыбели, так же удивлялись старчески мудрому выражению

лица ребенка, как впоследствии – ребяческому отпечатку, лежащему на всей его фигуре взрослого человека. Он был высок, худощав и крайне оригинален в осанке и движениях. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонки; кисти рук широки, а ступни таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не случалось опасаться, чтобы кто-нибудь подменил ему калоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед. Уходя от него, человек скорее и лучше всего запоминал его нос, между тем как светлые и крайне маленькие глаза его, скрытые в своих впадинах за большими веками, не оставляли по себе впечатления. Выражение глаз было ласковое, добродушное, но в них не было той захватывающей игры света и теней, той жизни и выразительности, благодаря которым глаза становятся зеркалом души. Зато очень красив был его высокий, открытый лоб и необычайно тонко очерченные губы».

Может быть, думаю я, перечитывая это описание, глаза Андерсена были устремлены как бы внутрь, и поэтому не каждому дано было разглядеть их тайное, такое «не внешнее» сияние.

Андерсен шел по старому спящему Копенгагену, от дома к дому, из переулка в переулок. Очень, очень не спеша и неслышно. Остановился он и у дома господина в богатой шубе, своего давнего обидчика – ведь там тоже жили дети... Двери были заперты на десять засовов, окна закрыты став-

нями.

Андерсен что-то шепнул Оле-Лукойе. Оле, кивнув, соскочил с его плеча, прошел сквозь обитые железом, запертые двери, поднялся по темной лестнице, так что не скрипнула ни одна ступенька, и очутился в маленькой комнате, где спал мальчик, внук хозяина дома. Было темно и душно, ах как темно и душно было здесь, и мальчик стонал в беспокойном, тяжелом сне.

Но Оле-Лукойе дунул, и темнота начала рассеиваться – из черной она стала чуть голубой, ветер, пахнувший цветами и травами, влетел в окно, откуда-то сверху спустились сны, как птицы, после перелета опускающиеся на гладь озера, и заскользили по прозрачному, просиневшему пространству ночи над изголовьем кровати.

Оле-Лукойе прилег рядом с улыбнувшимся во сне мальчиком – он тоже больше всего на свете любил смотреть такие спокойные и веселые сны – и подумал:

«Вот уж удивится и обозлится этот важный господин, когда в его вороньем гнезде вырастет не вороненок, а славный человеческий детеныш».

... Волшебники приходят к людям из разных стран, из разных, даже самых отдаленных времен. Они идут, идут, представляясь нам рассеянными на огромном пространстве огнями, идут, чтобы помочь нам не заблудиться на долгом нашем пути, о котором недаром сказано: «жизнь прожить – не поле перейти».

A. Шаров

Сказки

Гадкий утенок



Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тя-

нулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» – слышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

– Живо! Живо! – закричала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им – зеленый свет полезен для глаз.

– Как мир велик! – сказали утята.

Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.

– А вы думаете, что тут и весь мир? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я от роду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? – И она встала. – Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

– Ну, как дела? – заглянула к ней старая утка.

– Да вот, еще одно яйцо остается! – сказала молодая утка. – Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

– Постой-ка, я взгляну на яйцо! сказала старая утка. – Может статья, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

– Посижу уж еще! – сказала молодая утка. – Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

– Как угодно! – сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» – и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

– Ужасно велик! – сказала она. – И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! – и утка очутилась в воде.

– За мной! Живо! – позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вы-

нырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.

– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество – мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

– Вот как идут дела на белом свете! – сказала утка и облизнула язычком клюв, – ей тоже хотелось отведать угриной головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – сказала она утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

– Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

– Оставьте его! – сказала утка-мать. – Он ведь вам ничего не сделал!

– Это так, но он такой большой и странный! – отвечала забияка. – Ему надо задать хорошенькую трепку!

– Славные у тебя детки! – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

– Никак нельзя, ваша милость! – ответила утка-мать. – Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залезался в яйцо, оттого и не совсем удался. – И она провела носиком по перышкам большого утенка. – Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

– Остальные утята очень-очень милы! – сказала старая утка. – Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все – и утки и куры.

– Он больно велик! – говорили все, а индейский петух, ко-

торый родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, каким-то посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

– Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

– Глаза бы мои тебя не видали!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и – через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидели нового товарища.

– Ты кто такой? – спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

– Ты пребезобразный! – сказали дикие утки. – Но нам до этого нет дела, только не думай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.

– Слушай, дружище! – сказали они. – Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить «рап, рап!». Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

Пиф! паф! – раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. Пиф! паф! – раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь – перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизилась к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и – шлеп, шлеп – побежала дальше.

– Слава Богу! – перевел дух утенок. – Слава Богу! Я так

безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боился пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка – приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал; что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала Сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.



Утром пришельца заметили; кот начал мурлыкать, а ку-

рица клохтать.

– Что там? – спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

– Вот так находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом – лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

– Умеешь ты нести яйца? – спросила она утенка.

– Нет!

– Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

– Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

– Нет!

– Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

– Да что с тобой?! – спросила она. – Бездельничаешь,

вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

– Ах, плавать по воде так приятно! – сказал утенок. – А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

– Хорошо наслаждение! – сказала курица. – Ты совсем рехнулся! Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

– Вы меня не понимаете! – сказал утенок.

– Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя – так всегда узнаются истинные друзья!

Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! – сказал утенок.

– Скатертью дорога! – отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразия.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть со-

всем, но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без усталости работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.